



## ПРОЛОГ

**С**нег искрился на солнце, по-зимнему слабым, коротком. За несколько светлых часов нужно было успеть много: и матери помочь по хозяйству, и проверить в лесу силки. Пекка, самый старший из деревенских ребят, уже кричал на всю округу, собирая мальчишек, с которыми несколько дней назад ставил растяжки. Уговор оставался прежним: кому что ни попадется — всё делим пополам. Дюргий наскоро дочистил хлев и, бросив как попало инструмент, на бегу нахлобучил старую отцовскую шапку, подхватил снегоступы.

Младшая сестра Пекки, Анники, тоже зачем-то увязалась в лес. Она путалась в слишком большом для нее тулупе, едва попевала за другими, но уверенно шла на своих детских снегоступах, хоть и самой последней. Прокладывая тропу по замерзшему озеру, Пекка то и дело покрикивал:

— Не отстаем, малышня! Дюрга, гляди там за Анни хорошенько!

Тогда Дюргий стал глядеть хорошенько, да так, что Анники быстро набрала снегу за шиворот и в валенки, а щеки у нее покраснелись от мороза и смеха. Дюргий еще подначивал:

— Вот и чего не сидится у печки? Не женское ведь дело — за зверем ходить. Вся твоя наука в доме.

— Хочу и хожу! — отбивалась Анники, закидывая его снежками. — Пекка, скажи ему!

Но Пекка, тропивший путь, не обращал внимания на их возню. И Дюргий, весь в снежном крошewe, безнаказанно скакал вокруг Анники зайцем-беляком, сам едва понимая, что с ним такое происходит. Хотелось смешить соседскую девчонку и валять в снегу — чтобы в другой раз подумала, как ходить с ним, Дюргием, на промысел. Подумала — и, может быть, снова пошла бы.

— Да ты, наверное, просто влюбилась в кого-то из нас, вот и потащилась! — дразнился он. — Или ждешь заморского принца?

— А вот и жду! — выпалила Анники, бросая в Дюргия новый снежок. И добавила, совсем как взрослая: — Все равно тут не в кого влюбляться.

Дюргий посмеялся, но только чтобы не выдать себя перед девчонкой. Острая обида занозой засела где-то под ребрами. Он припустил за остальными мальчишками так, что Анники едва поспевала. Дюргий даже немного позлорадствовал про себя. Конечно, в любви эта пигалица совсем ничего не понимала. Другое дело — Колгана, ее мать. Еще не старая и красивая, она потеряла мужа на войне и до сих пор ходила по деревне во вдовьем платке. Вот она, наверное, кое-что важное знала про любовь. А Анники просто за ней повторяет. Этим Дюргий и утешался.

Вскоре он заметил, что один снегоступ у Анники разболтан: ей то и дело приходилось останавливаться, чтобы поправить крепеж. А тут еще Пекка крикнул:

— Ну, чего тащитесь?

Пришлось оставить на время обиды и вернуться за Анники. Присев рядом, Дюргий поставил ее ногу себе на колено и подтянул ремень как следует.

## ПРОЛОГ

— У тебя полозья треснули, ты знаешь? — сказал озабоченно. — Занеси потом моему отцу, он посмотрит.

Анники покачала головой:

— Пекка сам все починит, я ему скажу.

Когда вошли под темные со снежной проседью сосны, Анники остановилась, запрокинув голову и сдвинув со лба пуховый платок. Дюргий тоже замер, уставившись в прозрачно-голубое зимнее небо. В высоких кронах пели, перебиваясь колокольчиками, птицы.

— Знаешь, кто поет? — спросила Анники и тут же сама ответила: — Это вот синица, а там — слышишь? Оляпка.

Она накрыла нос красной варежкой, чтобы немного согреть. Пар, прорываясь влажными облачками, устремлялся вверх, и Дюргий, слушая звонкую птичью ругань, любовался тем, как он клубится на морозе.

— Анники, Дюрга, — позвал Пекка издали, — не отставайте!

Но тут же гаркнул не своим голосом:

— Не подходить!

Конечно же, все побежали — и Анники тоже, скрипя треснувшими полозьями и теряя снегоступы.

Пекка стоял на полянке, напряженный, словно готовый к бою, и пристально следил за густым ельником. Силки были пусты, но капли крови на снегу говорили о том, что кто-то все-таки попался — вот только стал чужой добычей.

Из ельника на детей глядела стая волков, по-зимнему голодных — один маленький зверек их только раздражил. Молодые стали окружать Пекку, а вожак пошел прямо на него. Черная волчья губа подрагивала, обнажая клыки. Пекка замахнулся веткой, которую где-то подобрал, но ветка была короткая и нестрашная, так что волк не отступил. Для сильного зверя человеческий детеныш — легкая

добыча, так всегда говорил отец Дюргия. Легче, чем загнать зайца или повалить оленя.

Мягко и бесшумно волк прыгнул с места, целясь Пекке в лицо. Дюргий ничего не успел сделать — да и не смог бы. Единственное, что получилось, — перехватить Анники, которая бросилась на помощь брату.

Анники завизжала, выбиваясь, и от этого визга Дюргию заложило уши. Казалось, в голове звенят тысячи маленьких птиц-колокольчиков.

Воздух вокруг задрожал, поплыл волной. Волна превратилась в ветер — и ударила с такой силой, что сбила с ног и Дюргия, и остальных мальчишек. Выпустив Анники из рук, Дюргий взмыл в воздух, ударился спиной о ствол дерева — и упал лицом прямо в сухостой. Одна торчащая из снега ветка оказалась с острой, обломанной вершиной. Щеку хлестнуло ослепительной болью — Дюргий взвыл, чувствуя, как по шее бежит горячее. Упав лицом в снег, он нагреб побольше на рану, чтобы остановить кровь и унять боль. Щеку дергало, глаз начал потихоньку заплывать, но все еще хорошо видел — значит, не пострадал. Что это было? Взрывчатка? От отца Дюргий слышал, что после войны кое-где находили припрятанный динамит. Но не в их краях, не в лесу около родной деревни!

Едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться, Дюргий приподнялся. О себе он почти не думал — только об Анники. Как она? Жива ли? Он боялся увидеть самое страшное. Но первое, что бросилось в глаза, — волки.

Словно невидимая рука великана разметала стаю во все стороны — их мягкие меховые тела, раздавленные, переломанные, недвижно лежали под деревьями. Сосны вокруг поляны согнуло, как после урагана, и снег, осыпавшись с ветвей, припорошил и волков, и брызги крови на снегу.

## ПРОЛОГ

Все выглядело так, будто произошло давным-давно. Будто волки сами умерли — или просто уснули колдовским сном.

Анники была жива. Она стояла на коленях посреди поляны, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Рядом с ней на снегу лежал Пекка, смотрел в небо широко распахнутыми глазами. Крепко стискивая руку брата, Анники плакала навзрыд.

— Пекка! — звала она. — Пекка-а-а! Это не я! Я не хотела...

Остальные ребята понемногу приходили в себя, только Пекка не шевелился. Кое-как поднявшись, залепив рану снегом, Дюргий бросился за помощью. Где-то тут, неподалеку, работал его отец. Оставалось только добежать, успеть — и Дюргий бежал, проваливаясь по колено в снег, запинаясь о коряги и пни. Он летел через лес напрямик, одному ему известной дорогой.

Вот уже совсем близко стучат топоры, визжат пилы, кто-то даже поет для бодрости. Выкатившись на вырубку, в распахнутом тулупе, весь окровавленный, Дюргий со всего маху налетел на отца. Тот как раз тащил охапку смолистых чурбаков. Увидав сына, охнул, разом уронил всю вязанку.

— Дюрга! Что ты?..

— Волки! — только и смог выдохнуть Дюргий. От быстрого бега все слова, казалось, растерялись по дороге. — Там... волков...

— Да ты толком говори! — потребовал отец.

Под его строгим взглядом Дюргий собрался и кое-как объяснил:

— Там... Анники волков... заморила... и Пекку...

Больше отец ничего не спрашивал. Кликнув мужиков и подхватив сына, резво побежал по его следам. Обратный путь показался Дюргию вечностью. Когда они наконец вы-

скочили на поляну, многое изменилось, лишь мертвых волков все так же заносило поземкой.

Мальчишки окончательно оправились и струдились вместе под раскидистой сосной — все, кроме Пекки. Тот лежал на прежнем месте, раскинув в стороны руки. Из рта поднимался живой теплый пар, а губы дрожали. Увидев, что Пекка живой, Дюргий вскрикнул от радости. Но почти сразу понял, что Пекка плачет. Дюргий никогда не видел, чтобы он плакал, разве что когда был совсем маленьким. Анники лежала рядом с ним, почему-то ничком. Расщепленный снегоступ до сих пор цеплялся за ее валенок. Дюргий застыл, не в силах подойти — и узнать наверняка, что с ней не так.

Вместо него к детям Колганы шагнул отец. Мельком взглянув на Пекку, он нагнулся над Анники, осторожно перевернул ее. Потом взял на руки, словно тряпичную куклу. Рука в красной варежке свесилась и замаячила гроздью переспевших ягод. Дюргий встретился с отцом глазами, и тот покачал головой.

Рану на щеке обожгло, зашипало. Теплая кровь, едва схватившаяся от холода, снова потекла, но теперь впере-мешку со слезами. Все синицы и оляпки, вспугнутые, давно улетели, и на притихшей поляне его всхлипы было слышно слишком хорошо.

В лесу остались только вороны. Расправив крылья, они молча кружили над их головами, опускаясь все ниже и ниже.

## АНЯ

**В**оздух в цеху дрожал и плавился, в нем стояла удушливая банная взвесь. Но даже окна не открыть — от жары, навалившейся на Ленинград в июле 1940 года, спасения не было нигде. Аня вдела нитку с пятой попытки, протянула, заправила за лапку. Качнула правой ногой — ее машинка «Зингер» с выгнутой черной спиной застрекотала, влилась в общий цеховой стрекот. Этот звук убаюкивал. Прикрыв глаза, Аня вообразала, будто сидит на цветущем лугу, полном кузнечиков. В паровом мареве цеха алые косынки других швей, закройщиц, гладильщиц казались венчиками цветов. Жара придавливала широкой ладонью, и Ане хотелось спать, но спать было нельзя. В летний знойный полдень над полями и дугами носится огненный змей, затмевающий крыльями небо. Уснешь — змей унесет, и поминай как звали...

Теплая капля скатилась по коже, пропитала рабочий халат, и Аня, очнувшись, задержала ногу. Вовремя! Еще чуточку — и прошила бы себе палец. Строчка кривой волной уползла влево. Аня огляделась: не видит ли кто ее ошибку? — и сразу почувствовала, как Лидочка Прилучная за ее спиной крикнет такую же, как строчка, ухмылку.

Гладильщицы в цеху поддали пару, глаза защипало от жары и пота. Аня сдернула косынку, вытерла ею лицо. По-



дышала чуть-чуть в белую хлопковую ткань, за полдня работы пропахшую потом и машинным маслом. Перевязала по новой, ту же — так, что сдавило виски. В голове сразу прояснилось. Жаль, не открыть эти огромные многометровые окна, чтобы ветер с реки приносил прохладу. Фабрика в ударном режиме отшивала осеннюю коллекцию из итальянских тканей, а уличная грязь плохо сочеталась с таким роскошеством.

Аня работала здесь всего несколько месяцев, и бригадирша поставила ее на самые простые модели, для внутреннего рынка, и то из жалости. Она, конечно, не говорила этого вслух, но Аня чувствовала отношение: «Не такая уж ты хорошая швея. По прямой прострочить, пуговицу пришить — вот и все твое мастерство». Аня и сама это знала.

По-настоящему хорошей швеей, искусницей, слыла ее мама. Но о маме — Анники, милая Анники, — о маме мы не будем вспоминать, потому что когда ты о ней вспоминаешь, тебе становится хуже, Анники, и ты себя не контролируешь. Хватит и того, что вспомнился летний дуг за родной деревней и сказка про змея. А про белую мягкую руку, что ловко орудует иглой, про мамину руку даже думать не смей. Ниточка у мамы всегда короткая, а линия жизни на ладони — долгая. Говорила, что с иглой родилась, а умрет старенькой-престаренькой.

Враки это все про линию жизни, бабкино колдовство.

Аня взялась за распарыватель, подцепила и потянула нитку кривой строчки. Если снять нитку аккуратно, не повредив ткань, а потом перестрочить как полагается, то и незаметно будет. У Ани в работе был обыкновенный ситчик, ноский и надежный, в мелкий цветочек. Главное, чтобы честная комсомолка Лидочка ее не выдала.

Аня бросила быстрый взгляд из-под платка: Лидочка стрекотала себе с непроницаемым лицом и больше не кри-

вилась. У Лидочки были куда более сложные, дорогие ткани. Одни красиво переливались, но сыпались на срезе. Другие походили на струистые призрачные покровы, и даже свет, проходя сквозь них, становился приглушенным и теплым, как в газовом фонаре. Изделия из таких тканей шили на экспорт, для жен каких-нибудь заграничных профессоров и комиссаров. Наверняка там тоже есть комиссары, а у них, конечно, жены.

Однажды, глядя на платья и блузки, которые получаются у Лидочки, Аня спросила, хотела бы она сама носить такое. Лидочка тогда сказала: «Чтобы такое носить, нельзя трудиться. А это, Анютка, еще уметь надо — не трудиться. Это такая хитрая наука, что нашей рабоче-крестьянской сестре негде ее изучить. Да и не для чего! Вот ситец, хлопок — это нам подходящее».

Аня начала заново: нитка, нога на «качельку», поворот чугунного колеса — и тянется из-под лапки ровная дорожка. По словам Лидочки выходило так, что сама она шила бесполезное, но красивое, зато Аня — простое и нужное. Аню это устраивало и утешало: работая маленьким винтиком в огромном швейном цеху, можно было сколько угодно притворяться нормальной. Жить самой обычной жизнью и не вспоминать о прошлом — о маме, о волках.

— Да что ж это!..

По ноге хлестнуло, обожгло кожу. Аня взглянула сначала на свою щиколотку: там вспухал длинный красный след; потом — на колесо сбоку под столешницей. Кожаный ремень, связывающий весь механизм, лопнув, выскочил из колеи и теперь уныло свисал с обода.

— Ремень слетел? — Лидочка тут как тут, тоже сунулась. — Что-то у тебя сегодня не ладится дело.

— И не говори. — Аня усмехнулась, потирая ожог. — Это все жара.

— Ты просто когда строчишь, ногой дергаешь, я заметила, — заспорила Лидочка. — А нужно плавно нажимать. Контролируй это. У меня тоже раньше так было, потом ничего, привыкла.

— Володю позову, — сказала Аня. От Лидочкиных наставлений ужаленная ремнем нога зачесалась еще сильнее.

— А сегодня разве его смена? — удивилась Лидочка. — Ну, тебе видней.

Она сказала это таким голосом и посмотрела так многозначительно, что Аню обдало жаром — десять кожаных ремней хлестнули по телу, сотня гладильщиц разом поддали пару. Аня вскочила и стала расправлять на коленях халат, отвернувшись от Лидочки.

О том, что Володька вьется за новенькой швеей, знали все и болтали тоже все. Аня ловила отзвуки этой болтовни то в столовой за углом, куда фабричные ходили обедать, то в самом цеху. Болтушки прятались за шумом, но редко обращали внимание на саму Аню, даже когда она проходила совсем близко. Но о том, что Аня тоже думает о Володе, помнит его расписание, мечтает о нем короткими и душными белыми ночами, не говорил никто — до этого дня.

— Не ходи, не ходи. — Лидочка потянула Аню за подол, усадила обратно на стул. — Я покричу.

Она набрала воздуха в свою широкую грудь и затанула:

— Зи-и-ин! А Зи-и-ин! А покличь нам Володьку! Володьку, говорю, позови!

Кричать Лидочка любила. С ее крепким густым голосом она могла работать на рынке или на стройке — даже командовать армией, если бы ей дали. Или хоть петь в рабочекрестьянском хоре. А может, она и пела — Аня никогда не задумывалась, чем занимается ее соседка, когда выходит за ворота фабрики.

Лидочка докричалась до Зины, Зина, маленькая, юркая гладильщица из первой бригады, мигом вспорхнула со своего места и, объявив перекур, растворилась в клубах уютного пара. Следом за ней с чуть виноватым видом потянулось еще несколько девушек и женщин. Довольная собой, Лидочка уселась за машинку и вновь застрекотала. Она всегда знала, кого именно следует просить об услуге, чтобы услужили в ответ, как говорить с высоким начальством, а как — с бригадиршей. Хваткая и активная, Лидочка идеально вписывалась в рабочий коллектив.

Аня всего этого не умела. Она вообще старалась все делать сама, никого не беспокоить. Не отвечать. Ах, как бы ей хотелось работать вагоновожатой! Сидишь в отдельной кабине, ведешь по рельсам трамвай, будто корабль по реке, звенишь в звонок, следишь, чтобы мальчишки не катались за просто так на подножке, — вот и вся нехитрая наука. У Пекки хорошо получалось водить трамваи.

Аня уже почти всерьез настроилась пойти на курсы вагоновожатых и поменять работу, даже представила, как, встречаясь на рейсах, они с Пеккой будут звенеть друг другу и махать руками. Но тут в цех вошел Володя — в рубашке с закатанными до локтей рукавами и кепке набекрень. Увидев, как он уверенно шагает к ней, Аня судорожно наклонилась, заглянула под машинку — проверить, как там ремень, не починился ли сам собой.

Ремень висел. Шиколотка слегка посинела и болела, если дотронуться.

— Здравствуйте, товарищ швея. — Володя грохнул ящиком с инструментами. Его тон был серьезен, а глаза смеялись. — Что у нас сегодня?

Аня неловко вылезла из-под стола, уступая Володе место. Встав за его спиной, она старалась смотреть только на его

руки, ловкие и умелые, покрытые тонкими темными волосками. Руки поймали кожаный ремень и стали вытягивать его из механизма.

— Слетел вот... — пробормотала она, чувствуя на себе взгляд Лидочки и, еще сильнее смутившись, зачем-то добавила: — Я не специально.

Володя хохотнул:

— Да уж надеюсь! И как это у тебя так получается, Анют? Вот же только чинил...

Аня пожалала плечами и прикусила губу, чтобы тоже не рассмеяться. Два дня назад ее попросили помочь с костюмной тканью, но игла застряла в толстом полотне: оказалось, прежде чем заводить новую ткань под иглу, нужно перенастраивать строчку. Володя тогда быстро все поменял, а вечером они пошли в сад, где ели один большой рожок миояновского мороженого на двоих и говорили обо всем подряд. Это был их маленький ритуал — еще с мая, когда Володя впервые позвал Аню на прогулку.

Не отрываясь от своих призрачных покрывал, Лидочка усмехнулась:

— Действительно, колдовство какое-то.

— В Советском Союзе колдовству не место, — отозвался Володя. Он поднял повыше ремень. — Вот, глядите: лопнул и соскочил. Ничего, сейчас исправим. Анютка, не переживай только! Расходный материал эти ремни.

— Да я и не... Просто испугалась.

Аня мотнула головой, прогоняя накотившее вдруг оцепенение. Но слова Лидочки, игривые, насмешливые, застряли в голове и зазвучали уже другим голосом — старческим, с пришепетыванием. На другом языке зазвучали — ее родном, почти забытом вместе с оставленным в зимнем волчьем лесу детством.

*Халтиатуи, халтиатуи...*<sup>1</sup>

— Ну все, — объявил Володя, приподнимаясь на одно колено, — принимай работу.

Надвинув косынку на лоб, Аня села за машинку, привычно поставила ногу на педаль, качнула. Стрекот зашекотал уши, утешая Аню, успокаивая. Шекотно стало и ноге. Аня взглянула вниз: неспешно собирая инструменты одной рукой, другой Володя касался ее синяка на щиколотке. На миг их взгляды встретились, и в глазах Володи вдруг мелькнуло нечто темное, отчего Аня, вспыхнув, отстранилась, отдернула ногу. Захлебнувшись, встала и машинка.

За два с лишним месяца Аня узнала о Володе практически все: и про большую семью, без которой он себя не мыслил, и про отца-механика, который его устроил на фабрику, и про всякое смешное, что с ним приключалось в жизни. О себе Аня не особо говорила, да он и не спрашивал. Володя любил угадывать. Угадал, например, что она с севера, и Аня призналась: «Да, из Карелии». Про мечты только ни разу не угадал, но Аня не хотела его обидеть.

А пару дней назад, доедая мороженое, он сделал ей предложение.

— Говорю же, контролируй себя, — вострубила Лидочка, — а то ремней на тебя не напасешься.

Володя поднялся с колена, быстрым бисерным почерком вписал в свой бланк номер Аниной машины — «397ШМ». Сказал:

— Ну что ж, до свидания, — и, кивнув Лидочке, пошел к выходу.

Только теперь Аня поняла, какая тишина стояла в цехе, пока Володя чинил ее машинку. Затаив дыхание, будто боялись испугнуть, девочки — швеи, закройщицы, гладиль-

<sup>1</sup> Одержимая, ведьма (карел.).

щицы — проводили его долгим взглядом. Когда Володя скрылся за дверью, кто-то даже вздохнул. Лидочка от этого вздоха хохотнула, и тогда все дружно рассмеялись.

— Пойдешь в столовую с нами? — спросила Аню. Она спрашивала это каждую смену — из вежливости, конечно.

Аня помотала головой:

— У меня все с собой.

— Индивидуалистка, — хмыкнула Лидочка. — Знаешь главный женский лозунг? Долой кухонное рабство!

Она говорила это вроде без злобы, даже с улыбкой, но нехорошее предчувствие, которое появилось у Ани насчет нее и ее комсомольской совести, только усилилось. Как бы не уволили за недостаточно коллективистский дух.

Как только на фабрике задребезжал медный молоточек звонка, девочки смешливыми стайками прыснули из цеха. Аня же сперва дострочила шов, аккуратно закрыла его, затем отнесла готовое изделие на глажку. Только после этого переделалась из рабочего халата в свое желтое платье. Подхватив сверток с нехитрым обедом — хлеб, огурцы, вареное яйцо, — она прошагала коридором, прохладным и нарядным от небесно-голубых и лимонных стеклоблоков, и потянула тугой рычаг. С утробным гудом ожил механизм, привел в движение тросы и поршни, и вскоре резные, царские еще двери из мореного дуба, инженерной мыслью поставленные на полозья, разошлись в стороны. Аня ступила внутрь застекленной со всех сторон трубы на платформу, и лифт понес ее вниз.

Секунды, которые она проводила в этом лифте, были едва ли не самой главной ценностью тяжелых рабочих смен. Фабрика находилась в самом центре Ленинграда, напротив Казанского собора, и с высоты открывался вид на весь центр города. Вдали серебрилась Нева и горел золотой шпиль Петропавловской; тут же полыхали нарядные, словно са-

харные, головы храма, над которыми резал знойное небо биплан; на вычурную шишечку купола дома Зингера опускался парной жар. Крыши и шпили сменились людной и шумной улицей — Аня выпорхнула из лифта и прибавила шагу.

Сразу после революции с домом Зингера вышла какая-то сложная история, из-за которой он больше не был связан со швейными машинками, но подробностей Аня не знала. Теперь внутри на нескольких этажах обитали издательства, что тоже было неплохо. По утрам мальчишки разбегались от дома Зингера во все концы города, у каждого на плече — пухлая сумка со свежей прессой. В скорости они уступали разве что ребятам на высоких хромированных велосипедах, которые каждое утро с веселым звоном мчались по своим делам.

Аня прошла гранитной набережной канала к проспекту, лавируя среди мужчин в льняных брюках и с портфелями под мышкой, мамочек, толкавших перед собой плетеные высокие коляски, старушек с дворянской осанкой. У дороги остановилась: регулировщик подгонял автомобили — блестящие, крутобокие, с круглыми глазами-фарами и хищным оскалом радиаторов. Аня не любила автомобили: от них жутко воняло. Почти как от заводов — тех, что у верфей. Иногда ветер приносил этот запах в их с Пеккой коммуналку, и они вешали на окно мокрую тряпку, чтобы как-то спастись.

Пекка работал на «чистом» транспорте — трамвай, двадцать первый маршрут. Он останавливался неподалеку от Летнего сада ровно через пятнадцать минут — если, конечно, ее наручные часики не ввали. Аня сверила их с уличными: гигантская и резная, похожая на перо минутная стрелка уверяла, что у Ани в запасе целых семнадцать минут.



Регулировщик подал сигнал пешеходам, и Аня уже хотела было идти, когда услышала оклик:

— Анют!

Она обернулась, чувствуя, как мягко ведет колени, как уши под волосами вспыхивают, а в животе будто печет. Ее догонял Володя. Рубашка у него на спине надувалась парусом, из-под кепки выбивался вихор. Аня замерла, глядя на то, как хорошо он бежит. Она не могла свинуться с места, завороченная этим зрелищем. Володя немного напоминал ей друга детства — тот тоже отлично бежал, и не просто по мостовой, а на лыжах, по искристому хрусткому снегу.

— Анют. — Володя остановился, чуть не налетев на нее. Аня отступила к стене, чтобы не мешать прохожим, Володя — за ней. Он навис, заслоняя ее от палящего солнца. — Ты куда, в столовую? Провожу?

— Нет, я к брату, сегодня обедаю с ним.

— Так это еще лучше! — Володя подмигнул и, крутнув-шись на каблуках, предложил ей свой локоть. Аня медлила, и тогда он сам взял ее под руку. — Давай я с тобой. Заодно познакомимся наконец-то, с Петром-то.

— Володь...

Они перешли дорогу, будто молодая супружеская пара, и никто, казалось, не обращал на них внимания. Проспект, оживленный скоротечным северным летом, бурлил и пенился: толпа текла по бульвару в обе стороны, закручиваясь в воронки у ларьков с прохладительным и у «Союзпечати». За их спинами, повинуюсь указке постового, взревели автомобили, запокали, красуясь, кавалеристские лошади, каурые и в яблоко.

— Ань, ты же знаешь, у меня серьезные намерения. Все, как ты мечтаешь: семья, детишки...

Володя широко шагал, широко улыбался — и мыслил тоже широко. Рассуждая, он помогал себе свободной рукой,

так что иногда задевал прохожих. На самом деле Аня так и не успела поделиться с ним мечтами, но не перебивала: Володя был очень красив, когда такое выдумывал. Да и о чем были ее настоящие мечты? О несбыточном, о навсегда потерянном. То, что предлагал Володя, Аня тут же брала, примеряла с охотой. Это было как ситцевое платье: просто, надежно и годно для труда. Слушая его, Аня думала: да, хорошо. Почему бы и нет. Семья, дети — это как у всех. По крайней мере, это нормально. Одобряемо. Никто ни в чем не заподозрит.

— Пусть он тоже знает, — продолжал Володя, когда они почти бежали под головокружительными куполами Спаса на Крови. — Нам нужно расписаться. Жить сначала будем у тебя — ты вроде говорила, у вас квадратов много? Петя как-нибудь потеснится, а у меня, знаешь сама, братишки-сестренки, там бабушка еще старенькая... Но потом обязательно получим свою комнату, очень быстро получим!

Внизу, прямо под их ногами, раскачиваясь в темном гранитном русле канала, блестела вода, и смотреть на нее было почти невыносимо. От воды тянуло прохладой, разопревшей на жаре мочой, рыбьими потрохами, еще чем-то гнилостным, будто кто-то умер на дне.

Аня представила лицо брата, если бы он увидел сейчас Володю, и затараторила, похлопывая его по руке:

— Хорошо, хорошо, но давай, может, я сама сначала поговорю с ним? Мой брат... Петя, он просто волнуется за меня, его надо... подготовить, понимаешь? Мы ведь сироты, и брат единственный, кто заботился обо мне с тех пор, как...

— А я? — Володя вдруг остановился, нахмурился. — Я ведь тоже забочусь. Никогда тебя не брошу, клянусь!

Он выглядел таким несчастным, по-детски несправедливо обиженным, что у Ани сжалось сердце.

— Ну хорошо, — вздохнула она и, приблизившись, дала себя поцеловать. — Идем.

На площади Жертв Революции уже давно не хоронили никаких жертв, и теперь это было зеленое поле, разлинованное тропинками и украшенное клумбами в форме звезд. Только имена, выбитые на обелисках, напоминали о прошлом. Аня повела Володю краем площади, но все равно ощущала себя будто голой, видимой со всех сторон. Выросшая в лесу, на любом открытом пространстве она становилась чужой и беззащитной.

На остановке было небольшое столпотворение. Мужчины и женщины, кто в косынках, кто в вязанных крючком беретках, тянули загорелые шеи, высматривая красные трамвайные борта. Все очень нервничали, торопились — и, конечно, ссорились, прямо не отходя от остановки организовывали очереди, коалиции, возможно, даже профсоюзы. Разомлевшие от жары, на руках у матерей и на плечах у отцов дремали дети. Аня и Володя встали поодаль, но у самого края, под фонарем. Сначала Аня хотела спрятаться в толпе, чтобы Пекка не заметил их и проехал мимо, но Володя, будто разгадав этот нехитрый план, повел Аню к самому поребрику, так, чтобы ее цыплячье платьице сразу бросалось в глаза.

С Невы подул ветер, по ногам потянуло приятным холодком. Потом вдруг потемнело, загудело небо. Из-за поворота плавно вышел двадцать первый и, качнувшись на сторону, застучал-зазвенел, приближаясь к остановке. Народ оживился — но не от вида трамвая. Все смотрели наверх. Аня успела заметить в кабине вагоновожатого Пекку и помахать ему. Пекка помахал в ответ. А потом у одного из мужчин на остановке слетела шляпа, ее подхватило ветром, закружило, потащило куда-то в сторону Лебяжьей канавки и ввысь. И тогда Аня наконец увидела, как своим китовьим боком

на ленинградское солнце величественно наплывает немецкий дирижабль. Вся улица замерла, наблюдая это затмение.

Потом в оглушенной толпе, как выстрел, прозвучало звонкое девичье:

— Ишь, разлетались, фрицы, — и толпа очнулась, загудела. Кто-то стал махать руками, кто-то — свистеть. Рябой рыжеволосый мужчина с фотоаппаратом на шее, явно турист, навел объектив и отщелкал несколько кадров, сняв людей на фоне дирижабля.

— Нам бы такой хоть один подарили, друзья-товарищи, — басовито посмеялись и понесли эту мысль дальше, перекатывая на языках.

— А знаешь, как эта штуковина у него под брюхом называется? — шкодливо шурясь, спросил Володя и тут же протянул: — Гондо-о-ола... О, а там не твой брат? Ну что, была не была?

Пекка как раз заталкивал под стекло картонку с черной трафаретной надписью «В ДЕПО». Толпа, уже настроившаяся на трамвай, даже не обратила внимания: дирижабль оказался куда интереснее. Повинуясь крепкой хватке Володи, Аня сделала шаг, стараясь не смотреть на хмурое лицо брата, хотя ее обдавало холодными волнами тревоги. Знала же, что не одобрят! Теперь снова увезет в другой город, упрячет в очередной унылой общаге. А здесь — подумай, иногда пахнет! — зато даже коммуналки красивые, лепнина на потолках. И Володя. С его вихрами и мечтами, даже с темнотой в глазах, которая ей сегодня почудилась, даже с ней он ей нравился. Правда нравился. Он просто не оставлял ей другого выбора.

Солнце вспыхнуло, ослепило на миг. Аня вскинула ладонь козырьком ко лбу — и тут, обмирая от ужаса, увидела, что прямо на остановку летит грузовик. Его ведет влево,

совсем как строчку под ослабевшими пальцами, — водитель тоже паялся вверх, высунувшись из окна.

Трамвай зазвенел взахлеб, но не тронулся с места, защищая людей на остановке, и в тон ему заревел чей-то ребенок.

Тогда закричала и Аня:

— Петя... Пекка!

Воздух вокруг вздрогнул, расслоился и пошел волнами. От крика у Ани заболело горло, но звук тонул в вакууме, глух где-то в гортани, и она не слышала собственного голоса.

Зато она его видела.

Первыми посыпались стекла фонаря над головой, потом лопнула витрина табачного киоска. Люди попадали на землю, закрывая головы, пряча под собой детей. Аня видела, что они зажимают уши. У некоторых по пальцам текло что-то алое, похожее на давленную малину. Нос трамвая смялся, будто в него ударил огромный невидимый кулак, брызнули осколки — Пекка едва успел выскочить из кабины. Грузовик отбросило, размотало по дороге. От него отлетела дверь и попала в лошадь. Лошадь вскрикнула, будто ржавая петля, и это был первый звук, который выбил воздушную пробку. И сразу на Аню обрушились другие звуки: звон стекол по всей улице, крики и стоны, запоздалый свисток регулировщика...

И голос Пекки, издалека, как хлесткая пощечина:

— Анники!

Он так одергивал, только когда она переходила черту. Теряла контроль. Когда с ней происходило *это*.

Марево.

— Анники!

Ноги не слушались, тело обмякло. Улица выглядела так, будто взорвали бомбу. Аня падала, и никто больше не держал ее за руку. Она оглянулась, хватаясь за воздух: Володя

## А Н Я

лежал под фонарем, держась за ухо, из которого шла кровь. Он смотрел на Аню как на чудовище, и этот взгляд она знала слишком хорошо.

— С-сука... — Он задержал ногами по земле, отползая, потом вскочил и побежал прочь. Медленно оседая на землю, Аня смотрела, как Володя, такой улыбчивый и обходительный, бросает ее — через семнадцать минут после того, как обещал никогда не бросать.

— Анники!

Ее грубо схватили, поставили на ноги, и она почувствовала себя не то мягкой периной, которую нужно взбить, не то куском подошедшего теста, которое нужно обмять. Чем угодно, только не человеком.

— Я что тебе говорил? Что я тебе говорил?! — Пекка тряс ее за плечи, потом ударил по щеке, и она наконец-то смогла сфокусировать на нем взгляд.

— Пекка, я... Прости.

Он подхватил ее и куда-то понес, так быстро, как только мог. Развороченная улица плыла перед глазами, и Ане казалось, что это не ее несут на руках через дорогу, а весь город проплывает мимо, словно один большой дирижабль. Она видела пожарную машину, полную мужчин, как один похожих на Володю, видела того самого туриста с фотоаппаратом, который смотрел на нее через объектив. Потом была другая толпа: живая, гомонящая. Потом — умирающая лошадь посреди мостовой. Тень, пришедшая и накрывшая.

Потом — ничего.

## ЛИХОЛЕТОВ

Лейтенант Москвитин был конкретной заразой. Панафида — тот просто никакой, мямля. Даже к людям подойти боялся — стоял в стороне, жевал спичку. Москвитин же крутился без толку, затапывал все, что только мог затоптать. Громко, как дуракам, объяснял свидетелям, какие невероятные силы приложит, чтобы найти, арестовать и так далее и тому подобное... Устраивал театр, короче. Тянул время в ожидании старшего по званию.

Лихолетов пошел кругом, внимательно изучая место происшествия: землю, растерянные лица пострадавших, выбитые стекла, осколки под ногами и покореженный транспорт. Лошадь, зашибленная дверью, еще хрипела, дрожала горячим боком.

Все это было похоже на взрыв, так и следовало написать в рапорте. Но нечто странное в картине разрушений настаивало. Лихолетов пока еще не мог ухватить главную странность. Она висела, как марево, на самом краю мысли: Мадрид тридцать шестого, его личный кошмар, о котором не хотелось даже думать — потому что он обещал о нем не думать. Вере обещал. Профессору Любви, Петрову. Себе обещал, в конце концов.

Заметив Лихолетова, Москвитин скривил рожу, даже усмехнулся едко — вот как рад был видеть. Но до гримас

## ЛИХОЛЕТОВ

Москвитина Лихолетову дела не было. О том, какая слава ходит про него в стенах наркомата, он и так знал и даже почти привык.

Он дошел до изогнутого, как лук, фонаря. Со всех сторон осмотрел его, затем периметр. Вот оно. То самое место, откуда разошлась ударная волна. Лихолетов встал на нетронутый пятачок, как раз под человека, вытянул руки ладонями вперед. Толкнул перед собой воздух. Представил, как от этого толчка сминается кабина трамвая, как отбрасывает грузовик, как лопаются окна в здании, гнется металлическая фонарная нога, сминается складками, будто тонкая ткань, улица...

Он присел на корточки, тронул сколы вывороченной брусчатки вперемешку с битым стеклом. Мостовая была расчерчена крошечком, словно полосами. Они расходились от Лихолетова концентрическими кругами — радиус большой, но глазу все равно заметно.

Москвитин возник слева, Панафидников — справа.

— Товарищ старший лейтенант!..

— Мы тут... Раненых по больницам, а эти... Просто не в себе немного. Тронулись. Несут всякую чушь.

— Разберемся. — Лихолетов поднялся и, оттерев плечом Москвитина, зашагал к свидетелям. Нужно было добиться показаний, что бы там ни болтали эти балбесы и какими бы ухмылочками ни перекидывались. — Свободны.

У стены, прислонившись кто спиной, кто плечом, сидели три гражданки. Вид у них и правда был ошалевший. Темленькая, с татарскими скулами, смотрела в одну точку где-то на плече у Лихолетова, на вопросы не реагировала. Другая, в светлой блузке с уже подсохшими бурыми пятнами, мелко раскачивалась из стороны в сторону. Она сразу заявила, что это не ее кровь, и повторяла это, пока Лихолетов не сдался и не оставил ее в покое.



Третья, хоть и в возрасте, казалась самой вменяемой из всех. Когда он присел рядом, гражданка подняла на него глаза и даже робко улыбнулась.

— Следователь Лихолетов, — представился он и развернул корочку. Гражданка мельком взглянула в документы и кивнула. — Расскажите, что здесь случилось. Все, что запомнили.

— Вы знаете, — начала она обстоятельно, и Лихолетов сразу понял, что сейчас ее понесет. — Вы знаете, я ведь недалеко отсюда живу. Там, на Володарского. — Она махнула рукой. — Погода сегодня чудо как хороша, не правда ли? Вот я и вышла, хотела прогуляться вдоль набережной. Воздух такой сегодня... Хоть ложками ешь! И меня задержал дирижабль. Может быть, вы видели его? Мне кажется, весь город видел. Если бы не дирижабль, я бы... Я бы успела подойти ближе, понимаете? Это был немецкий дирижабль — там такой значок на хвосте. — Она согнула указательный палец. — В газетах печатали.

Лихолетов кивнул. Он не перебивал. Если не перебивать, люди обычно говорят больше. Он старался даже не шевелиться лишний раз, чтобы не сбить ее с мысли, но стиснул зубы, подобрался. Он хотел услышать самую простую версию, самую очевидную. Контрреволюционеры, бунтовщики, спланированная акция, подорвали динамит, кричали провокационные лозунги — что угодно. Найдем, поймаем, обезвредим. Лишь бы свои. Обычные ребята с понятными мотивами и обыкновенными, человеческими навыками. Лишь бы не призраки из прошлого.

— Там была девушка, — продолжала свидетельница чуть надтреснутым голосом. — Она вдруг закричала, я не знаю почему. Да громко так! А потом вокруг нее будто дрожь такая пошла по воздуху, будто марево. И грузовик как волной отбросило. Что это было такое — взрыв или что...

## ЛИХОЛЕТОВ

Она задумчиво помолчала, не замечая, как Лихолетов с шумом выдыхает, как вытирает со лба бисеринки пота. Потом вдруг спросила:

— А вы в детстве пускали блинчики по воде?

— Что?..

— Ну, камешки такие плоские, блинчики. Я пускала. — Она вдруг рассмеялась, совсем по-детски, будто и впрямь была безумна, как утверждал зараза Москвитин. — Вот от той девушки такие же волны разошлись, как от блинчика. Странно это, правда?

— Волной, значит, отбросило? От крика? — Лихолетов быстро взглянул по сторонам. — И правда, странно.

Гражданка в запачканной блузке внимательно слушала их разговор. Она мелко закивала, с усилием растирая себе грудь, будто хотела счистить чужую кровь:

— Так все и было, так и было! И мужчину, лысого, прямо на меня... Это не моя кровь, не моя.

— Я ж говорил, они тут спеклись все. — Москвитин скрипнул гранитной крошкой. Он нетерпеливо переступал, как лошадь, и Лихолетов вспомнил.

— Пристрелите ее хоть, что ли, — сказал он, вставая и отряхиваясь от пыли.

— Кого? — Москвитин испуганно уставился на Лихолетова, потом — на гражданок, перевел взгляд с одной на другую.

— Кого-кого. Лошадь, говорю, пристрелите. Мучается.

Москвитин нервно рассмеялся и махнул Панафидникову:

— Слышал?

Тот без возражений расстегнул кобуру и пошел к мостовой. Грохнул одиночный выстрел, и Лихолетов поморщился. От Панафидникова он такого не ожидал — от Москвитина, впрочем, тоже.

— Девушка куда делась? О которой вы говорите, — обратился он снова к третьей гражданке. Она растерянно огляделась, будто только что потеряла ее из виду, но ответить не успела.

— Я знаю!

Неуверенной походкой, как пьяный, к ним приближался молодой человек. Кровь на щеке уже засохла, взлохмаченные волосы были в пыли, один рукав рубахи раскатался, и парень механически подворачивал его. Он попытался улыбнуться, но уголки рта нервно подрагивали.

— Могу назвать имена. Могу провести в коммуналку, где они живут... Где скрываются. Там большая комната, хороший метраж, потолок...

— Старший лейтенант Лихолетов. А вы, собственно?..

— Володька я. Владимир Сорокин. Я был с ней, с той девушкой, Аней Смолиной... Ну, просто рядом стоял. Я ее знаю.

Москвитин уже подобрался — вылитая борзая в охотничьей стойке, вот-вот сорвется с поводка. Лихолетов поймал его взгляд. Качнул головой, сказал:

— Даже не вводем. Бери штурмовой.

— Есть брать штурмовой! — Москвитин сиял.

— Вот и добро. Потом сразу ко мне в кабинет. А вы, товарищ Сорокин, пока расскажите мне все, что знаете.

\* \* \*

НКВД называли Большим домом, хотя видимая его часть не превосходила по высоте соседние здания. Но про подвалы — еще восемь этажей вниз — знали все, хотя видели немногие. В народе даже ходил анекдот, что из подвалов виден Магадан, такая вот заоблачная высота. Лихолетов никогда не поднимался выше пятого этажа и не спускался ниже минус второго.

## ЛИХОЛЕТОВ

Архив располагался на третьем. По дороге Лихолетов забежал в свой кабинет — бардак, бардак, ничего не найти! — нашарил под бумагами трубку служебного аппарата, запросил данные по Анне Смолиной, велел перезвонить в архив.

Архивариус, крепенький мужик с каким-то очень темным прошлым, в которое Лихолетов предпочитал не вдаваться, вынес и составил у его стола несколько коробок: нераскрытые за последние десять лет дела по взрывам с серьезными разрушениями и жертвами, весь Союз. Лихолетов придвинул к себе ближайшую, вытащил одну за другой несколько папок. Бегло пролистал, но ничего похожего на сегодняшний случай не нашел.

Весь Союз — это слишком много. Он так до вечера провозится.

— Я жду звонка, — сказал он архивариусу и погрузился в чтение.

Через десять минут его позвали к аппарату. Лихолетов прижал листок к стене и, придерживая трубку плечом, записал все, что удалось раскопать. Показания гражданина Сорокина сходились. Не сходились только прошлое. Сорокин думал, Анна откуда-то из Карелии. Но по документам выходило, что они с братом приехали в Ленинград всего четыре года назад из Смоленска, а туда двумя годами ранее — из Витебска, где воспитывались в детском доме. А что было до детского дома, никто понятия не имел.

Лихолетов вернулся за стол. Перерыл все коробки, следуя не логике даже — звериному чутью. Нашел две чахленькие папки, «Смоленск» и «Витебск»: очень скупо, без материалов следствия, только газетные вырезки и фотографии.

Вот оно.

Жадно всматриваясь в концентрически расходящиеся круги щебня, стекла и асфальта, в искореженные фонари

и выбитые окна, Лихолетов не сразу заметил, как дрожат руки. Только когда заныло в виске, опомнился.

Тремор не давал о себе знать уже пару лет. Два года он чувствовал себя почти здоровым, почти нормальным. Хватало, чтобы усыпить бдительность жены, тестя — и свою. Только клеймо на тыльной стороне запястья — побелевший от времени рубец в виде буквы — нет-нет да напоминал о том, что тогда произошло.

Но Мадрид тридцать шестого, от которого он отмахнулся на площади, снова запульсировал, разросся опухолью. Камешек давно лежал на дне, но круги расходились до сих пор.

*Ночные авианалеты начались в середине ноября — до того республиканцев хранила плохая погода. Как они держались все это время, с десятью боевыми на один ствол, Лихолетов так и не понял. К тому времени, как он прибыл на подмогу в должности командира специального отряда «М», город представлял собой ужасающее зрелище. Изгрызенный взрывами и пулями, лишенный двух мостов, заваленный трупами, оставленный местным руководством на произвол судьбы, он еще стоял. Националисты давили с нескольких направлений, а теперь пробились и с воздуха.*

*Лихолетов привел на баррикады свой отряд — двадцать элитных бойцов, у каждого за плечами несколько лет спецподготовки. Разработал идеальный план со взрывчаткой, чтобы не допустить прорыва на площадь Испании, учел все нюансы: тактику противника, карту местности, время суток. Его ребята были хорошо вооружены и все хотели вернуться домой — кто к невесте, кто к родителям.*

С тех пор прошло четыре года. Два из них он лечил голову, еще два — вспоминал, что такое нормальная жизнь. За это время Лихолетов почти поверил в то, что втолковывал ему Петров: все, случившееся тогда на площади, ему,

## ЛИХОЛЕТОВ

Лихолетову, привиделось. Газа надышался, галлюцинировал, черт-те что. Человек в маске-громкоговорителя, и от него — марево, словно легчайшая волна. Голос, который пробирался прямо в голову и приказывал — так, что невозможно было не подчиниться. Бойцы, все как один вставшие по этому приказу и все как один нажавшие на спусковые крючки. Грохот двадцати выстрелов. Глухие удары двадцати упавших на землю тел.

Выжил один Лихолетов — выжил и вернулся в таком состоянии, что, встретив его на вокзале, Вера потом плакала несколько дней, а Петров чуть не убил. Он смял его рапорт, велел переписывать, потом еще раз переписывать. Потом плюнул, написал за него, снял с должности, отправил к врачу... Но в рапорте Лихолетов изложил лишь то, что видел своими глазами. Единственный человек, который мог бы его понять, — женщина с трамвайной остановки. Потому что и она видела сегодня то же самое. Марево. Волны, расходящиеся от голоса, словно от камешка на воде.

Кто-то тронул его за плечо. Лихолетов поднял взгляд: это был архивариус.

— Вас вызывают. Просили передать, что Смолина уже на месте, — сказал он и как ни в чем не бывало стал собирать документы обратно в коробки. Лихолетов сгреб папки «Смоленск» и «Витебск». Наскоро расписавшись за них на стойке, поблагодарил и почти бегом бросился в свой кабинет.

## БОРУХ

**У** белых не было ни единого шанса, и Борух не стал доигрывать эту партию. Он заново расставил фигуры, начал с открытого дебюта и стремительной контратаки в итальянском стиле. Дедушка Арон не любил итальянцев за то, что они безжалостны к пешкам: не считают серьезными фигурами и стараются поскорее избавиться от них, жертвуя ими ради открытой дороги к королю. Дедушка Арон использовал итальянский стиль, только когда очень злился. Например, когда каждому из них — дедушке, папе с мамой, Ривке и Боруху — пришлось найти желтый шестиконечный могоеновид<sup>1</sup> на одежду, дедушка Арон стучал по доске до темноты и потом еще немного, на ощупь определяя фигуры.

На первом этаже дома, где они жили раньше, еще висела табличка «Аптека», она принадлежала дедушкиному другу Эмилю. Сейчас комнаты их семьи заняли какие-то немцы,

---

<sup>1</sup> Могоеновид, или Щит Давида. Наиболее часто ассоциируется с шестиконечной звездой Давида. Звезда Давида — древний символ, эмблема в форме шестиконечной звезды, в которой два одинаковых равносторонних треугольника (один развернут вершиной вверх, другой — вершиной вниз) наложены друг на друга, образуя структуру из шести одинаковых углов, присоединённых к сторонам правильного шестиугольника. С XIX века Звезда Давида считается еврейским символом. *(Здесь и далее прим. ред.)*

## БОРУХ

а витрину аптеки разбили, закидав камнями. Куда делся сам Эмиль, Борух понятия не имел. Возможно, он вместе с дедушкой и папой теперь где-то на юго-востоке, в Верхней Силезии. Там, говорят, открыли Освенцим, но Борух не знал в точности, что это такое. Никто не знал.

Про Освенцим говорили разное. Больше всего хотелось верить в то, что это такой новый специальный поселок, где евреи могли жить свободно, без притеснений, просто не мозоля никому глаза. Об этом Боруху рассказала одна добрая фрау. Только она, когда говорила, все время отводила взгляд, а потом дала денег в два раза больше, чем Борух просил, так что верить ей было глупо.

Когда вермахт пришел в их город, дедушка Арон затолкал Боруха под пол и наказал сидеть тихо, что бы ни происходило. Это было немного похоже на то, как если бы Борух лежал в гробу, хотя он никогда раньше не лежал в гробу. Он дышал через щелочку и смотрел тоже сквозь нее — на желтый потолок, на мельтешение жестких лиц, рук в черных перчатках, грубых сапог. Потом уже не смотрел, только слышал: рубленные приказы, мамин плач, ропот отца, короткую молчаливую борьбу, удары. Он бы хотел не слушать, но уши сами по себе не умеют закрываться, а руки Борух поднять не мог. Худшее случилось потом, когда дедушку с отцом увели. Тогда мама и сестра стали кричать, но это продолжалось недолго: мама вдруг сильно закашлялась, и военные, выругавшись, оставили ее в покое, а Ривку забрали. После этого мама достала Боруха из-под пола, отерла от пыли и паутины и долго обнимала, будто он был совсем маленький.

Это случилось в апреле, а в июне мама умерла, и Борух остался совсем один. Тогда он снял желтую звезду, чтобы не привлекать слишком много внимания, взял дедушкины шахматы и выбрал подходящее местечко из тех, что знал, — в центре города, у кабака, напротив его родного дома. Те-



перь он каждый день сидел здесь, предлагая прохожим сыграть с ним на деньги. К июлю у Боруха было уже больше сотни побед и только пять поражений. Каждый день он зарабатывал несколько злотых и почти все отдавал пану Виславу, кабачнику — за еду и место у дверей. Спал Борух в пустующей аптеке Эмиля, пролезая в забитое досками окно через щель. К зиме он надеялся скопить столько, чтобы поехать в Освенцим и найти своих. Пан Вислав в свободный поселок не верил. Он говорил, евреев там могли держать в рабстве. Поэтому Борух надеялся еще и на то, что сможет кого-то из родных выкупить. Но кого именно — дедушку, папу или Ривку — он пока еще не решил и даже не хотел об этом заранее думать.

По улице в его сторону шли трое мужчин. Они смеялись, явно настроенные на выпивку, говорили по-немецки. Их высокие сапоги поскрипывали при каждом шаге. Сапоги были совсем новые, не такие, как у тех, кто увел Ривку, и Борух решил, что с ними можно рискнуть. Он поскорее вернул фигуры на исходные позиции.

— Господа, не желаете ли сыграть? — спросил он тоже по-немецки.

Но мужчины прошли мимо него в кабак, даже не взглянув. Все с ними было ясно: боялись проиграть, потерять деньги. Тогда Борух сам сделал первый ход. Ничего, думал он, через пару-тройку часов они выйдут, и, возможно, в их карманах еще останется злотый для него.

Он прикидывал, какой ход сделать следующим, но тут увидел черные женские туфли на каблуке, ноги в плотных чулках, строгую юбку. Высокая и красивая женщина с элегантно уложенными светлыми волосами присела напротив него. Она аккуратно вложила в его шапку целых три злотых и улыбнулась. Борух хотел было переставить фигуры на прежние позиции, но женщина его опередила: взяв чер-

## БОРУХ

ного коня, она сделала свой ход. У нее были тонкие длинные пальцы без колец, и Борух, двигая пешку, подумал: как странно, что она не замужем.

Он поставил ей мат очень быстро, всего за несколько ходов, и фройляйн захлопала в ладоши:

— Bravo! — воскликнула она. — Ты не оставил мне ни единого шанса!

Она совсем не разбиралась в шахматах, но, видимо, была очень доброй, поэтому Борух великодушно сказал ей, что она неплохо играла. Но фройляйн не спешила уходить.

— Как тебя зовут? — Она склонила голову набок, словно большая птица.

Обычно немцам не было дела до его имени. Борух сперва растерялся, но мама учила его быть вежливым, так что пришлось представиться. Только услышав себя со стороны, он понял, что это небезопасно. Если бы вопрос задала не фройляйн, а те трое в сапогах, кто знает, как бы сложилась его судьба.

— Еврей, значит..

Фройляйн посмотрела на него внимательно, но без угрозы. Борух испугался, что она сейчас задаст вопрос, где тогда его могоендовид, если он еврей. Но она спросила другое:

— Кто научил тебя играть в шахматы?

— Мой дед, — честно ответил Борух. Ему вдруг захотелось произвести на фройляйн приятное впечатление, сгладить то, что он еврей, поэтому он добавил: — Дедушка Арон говорил, я очень талантливый!

— Говорил? У тебя есть семья, Борух?

— Никого не осталось. Они... — Борух подумал о дедушке, папе, Ривке, даже об Эмиле. Проще всего было сказать, что все они умерли, а не только мама. Так он и сделал.

Лицо фройляйн стало очень грустным, сочувствующим.

— Мы с тобой похожи, — протянула она задумчиво.

Они немного помолчали, каждый о своем, а потом у Боруха заурчало в животе, и фройляйн спросила:

— Ты, наверное, голодный? Хочешь поехать со мной? Поешь как следует, познакомишься с другими детьми. Они такие же, как ты.

— Такие же, как я, евреи? — насторожился Борух.

— Нет. Такие же, как ты, особенные.

— Но это какой-то приют? Я не хочу. В приютах ничего хорошего.

Фройляйн улыбнулась:

— Нет, это не приют. Не совсем. Мы живем как большая дружная семья, и для тебя место найдется. Или тебе есть где сегодня ночевать?

Борух посмотрел на разгромленную аптеку, в которой уже завелись крысы, пожевал в задумчивости щеки. От фройляйн приятно пахло — розами и чистотой, она выглядела опрятно и даже благополучно. Дорого. Она позволила себе продуть три золотых и даже бровью не повела. Но ее предложение звучало слишком хорошо, и это напоминало дедушкины партии, когда Борух с радостью хватал слона или даже ферзя, а потом получал уверенный мат и шелчок по носу.

— Что взамен? — спросил Борух, собирая из кепки монеты и пряча их в карман к другим.

— Ничего. — Фройляйн развела руками. — Не понравится — сможешь уйти, никто держать не будет. Правда, ехать долго, но я на машине.

От удивления Борух даже выронил последнюю монетку.

— У вас есть машина, фройляйн?..

— Фройляйн Крюгер, для тебя — просто Катарина.

Она встала и, оправив юбку, вытащила из сумочки ключи от автомобиля, позвенела ими. Борух оглядел улицу, чтобы

## БОРУХ

угадать авто Катарина, но поблизости не было ни одного припаркованного. Тогда Катарина поманила Боруха за собой, и тот, быстро собрав шахматы, пошел следом. Он еще не решил, хочет ли ехать с ней, но посмотреть на машину определенно хотел.

Автомобиль стоял за углом, в глухом переулке. Он был похож на черное воронье крыло: такой же изящный изгиб и лаковый блеск. Крыша была опущена, и Борух увидел, что на переднем пассажирском сидит мужчина в светлом костюме. Откинувшись в кресле, он смотрел на небо, втиснутое между крышами двух близко стоящих домов. Услышав стук каблучков Катарина, он оживился и помахал им.

Борух приблизился к машине, провел пальцем по глянцевому капоту. Катарина открыла перед ним заднюю дверцу, и он увидел светло-бежевую обивку салона.

— Садись, попробуй, — пригласила она.

— Ладно... — Борух неуклюже забрался внутрь.

Захлопнув за ним дверь, Катарина села за руль, и Боруха снова обдало розовым ароматом. Она поправила зеркало заднего вида и шляпку, а мужчина в костюме повернулся к Боруху.

— Привет, — сказал он и улыбнулся. — Меня зовут Нойманн.

— Здравствуйте, — пробормотал Борух, ерзая на непривычно мягком сиденье.

Нойманну, казалось, было столько же лет, сколько папе Боруха. От него тоже приятно пахло, щеки были гладко выбриты, пиджак плотно обнимал широкие плечи. Борух хорошо представлял его в форме, хотя война не подходила ни его манерам, ни большим голубым глазам.

— Угощайся. — Нойманн протянул плитку шоколада.

Его руки были спрятаны в плотные кожаные перчатки, и на правой Борух увидел сложный механизм, почти как

в часах. Два пальца на перчатке были оплетены корсетами из тонких, как иглы, поршней. Когда Нойманн сгибал или разгибал пальцы, золотые шестеренки вращались, двигая поршни.

С некоторой опаской Борух взял из механической руки Нойманна плитку, развернул фольгу. От аромата настоящего шоколада слегка закружилась голова, голодный живот свело. Борух впился зубами в плитку, со стуком откусил, чуть не отхватив себе кончик языка.

Такого вкусного шоколада он не ел очень давно! Может быть, даже никогда. Борух уже не помнил, было ли это на самом деле — хорошие времена, семейные ужины, Эмиль, который иногда угощал его шоколадом, — или все это просто приснилось ему в одну из промозглых ночей на холодном полу аптеки.

Пока он ел, Катарина натянула кожаные водительские перчатки, черные с золотом, подняла крышу и завела мотор. Рыкнув, автомобиль тронулся с места, и они поехали по красивым улицам Вроцлава. Борух ел шоколад, глазел по сторонам, узнавая и не узнавая родной город. Тут все очень изменилось: посуровело, ошетинилось пугающими гербами и эмблемами.

Катарина, чуть наклонившись к Нойманну, сказала:

— Мальчик способный, но обычный.

— Ты не можешь знать наверняка, — ответил Нойманн и, поймав в зеркале заднего вида взгляд Боруха, подмигнул ему.

— Он еврей, — добавила она.

— Для нас это не проблема. — Нойманн повернулся к Боруху: — Ты же останешься с нами?

У Боруха был полный рот шоколада, но он все равно спросил:

— А там много детей?

## БОРУХ

— Да, много.

— И маленькие есть?

— Есть помладше тебя.

— И все они могут уйти, когда захотят?

— Конечно, — Нойманн улыбнулся, — но они не хотят.

В моем замке им все нравится.

— В вашем замке? — Борух даже забыл про шоколад, и тот медленно таял, пачкая ему руки.

— Скоро сам увидишь. — Нойманн загадочно улыбнулся.

Расправившись с угощением и облизав сладкие пальцы, Борух устался в окно, словно замок вот-вот мог выскокить из-за любого поворота. Нойманн тем временем подкручивал механизм на перчатке. Закончив, он добавил:

— Дорога долгая. Можешь поспать, пока мы едем. Засыпай.

Последнее слово он произнес на идише, и оно будто отозвалось внутри головы Боруха. Так мог бы сказать папа или дедушка Арон. Боруху стало тепло, он почувствовал, как его и правда клонит в сон. Откинувшись на спинку сиденья, он тут же провалился в сладкую сытую дрему. Последнее, что Борух услышал перед тем, как уснуть глубоко и без сновидений, были голоса Катарины и Нойманна.

— Ты права, — сказал он с некоторым разочарованием, — самый обычный ребенок.

— Но очень даровитый, — ответила Катарина. — Сыграй с ним как-нибудь в шахматы.

— Непременно.

Борух проснулся от того, что кто-то взял его на руки и вынес из машины во влажный после дождя воздух. Была уже почти ночь, и казалось, он проспал лет триста, не меньше. Пахло не по-городскому — печным дровяным дымом, сырой травой, а еще чем-то странным, озоново-грозовым, от

Нойманна. Борух притворился спящим, чтобы Нойманн нес его, крепко прижав к груди, и можно было представлять, словно он на руках у отца. Правда, отец никогда не говорил ни с кем по-немецки, даже с военными.

— Подготовьте постель, будьте добры, — сказал Нойманн кому-то, кто не ответил, только зашуршал гравием, удаляясь. Борух приоткрыл один глаз, но в полумраке не увидел ничего, кроме теней от высоких каменных стен и парадного входа, освещенного газовыми рожками.

Двери распахнулись, какой-то маленький человечек встретил их, и Катарина задержалась с ним на входе. А Нойманн прошел по гулкому холлу, взбежал по широкой мраморной лестнице — будто Борух совсем ничего не весил. Мимо проплыли увитые кованым плющом перила, длинный язык ковровой дорожки, темные портреты и причудливые гербы на стенах. Повсюду горели, потрескивая, свечи, и волны тепла касались свисавшей руки Боруха и щек.

Нойманн шел уверенно, то поворачивая, то сбегая по короткой лестнице, и вскоре они оказались в длинном и темном коридоре. Здесь не было свечей или газовых рожков, зато сквозь вытянутые узкие окна светила луна. По выбеленному луной полу Нойманн дошел почти до самого конца и открыл одну из дверей слева. Им навстречу шагнула фройляйн в длинном простом платье, коротко, одним подбородком поклонилась Нойманну и пропустила в комнату.

Сквозь полуопущенные веки Борух не увидел в комнате ничего, кроме череды кроватей. Почти во всех уже спали. Его уложили у дальней стены в чистые простыни, пахнущие свежестью. Нойманн сам снял с него ботинки, накрыл колючим теплым одеялом.

— Набирайся сил, — сказал он так, словно знал, что Борух его слышит. — Завтра они тебе понадобятся.

## БОРУХ

Легко ступая, он вышел из комнаты, прикрыл за собой дверь. Как только ручка шелкнула, Борух огляделся. Первое, что он увидел, — высокий сводчатый потолок, уходящий в темноту. В слабом лунном свете, который сюда почти не проникал, белело около дюжины постелей. Металлические, похожие на больничные, кровати скрипнули, и все покрывала взмыли в воздух почти одновременно. Борух испуганно закрыл глаза, а когда открыл вновь, его уже окружили.

Одиннадцать мальчишек, кто старше, кто младше. Все тарачились на него так, будто Нойманн принес уродливую, но забавную новую игрушку. Самый взрослый из них, высокий и крепкий парень лет тринадцати, светловолосый, с чуть кривым сломанным носом, склонился над Борухом. Сдернув одеяло, досадливо цыкнул:

— Дохляк. Как звать?

— Борух, — ответил Борух.

— Еще и свинья. У нас не спят в одежде, свинья.

Все мальчишки были в казенных хлопковых пижамах. Борух огляделся и увидел свою на спинке кровати.

— Я не знал, — буркнул Борух. — И я не свинья.

Мальчишки все покатались, но тихонько, задавливая собственный смех. Больше всех корчились два близнеца, словно пытались переплюнуть друг друга.

— Ансельм, покажи ему нож, — подзадорили светловолосого.

Скалясь, Ансельм приблизился к Боруху и повертел блестящим лезвием у него перед носом.

— Видал? — прошипел он. — Будешь тем, кем я скажу, понял? И будешь делать то, что я скажу. — Он отстранился, и толпа вслед за ним тоже схлынула, дав Боруху немного воздуха.

— Сегодня тебе, считай, повезло, еврейская свинья, — продолжал Ансельм. — Скидка в честь первого дня: снимай



свои обноски и надевай пижаму, как положено. Я прослежу. Остальные — по койкам.

Мальчишки шустро разбежались, каждый в свою постель — застучали по полу босые пятки, зашуршали простыни. Борух неловко потянулся за своей пижамой, не сводя глаз с обманчиво расслабленного Ансельма, который играл с ножом, удерживая его вертикально на кончике пальца.

Вот этого Борух и боялся в приютской жизни — больше, чем строгих воспитателей, плохих условий или физического труда. Вот таких Ансельмов с ножами, верной свитой и своими правилами.

— Гюнтер, — бросил Ансельм через плечо, не спуская глаз с Боруха, — позови нам Далию. Она вряд ли спит.

Борух ускорился, чтобы переодеться до того, как придет эта Далия, кем бы она ни была. Пижамка оказалась великоватой и не новой, явно с чужого плеча, но тоже чистой. Он затолкал свои вещи под кровать и раздумывал, может ли подвернуть рукава, или это будет уже не «как положено», но тут широкая дверь тонко скрипнула. В комнату мальчиков вплыла девчонка. Именно вплыла — неслышно перебирая ногами под длинной ночной рубашкой с оборками на руках и груди. Она была примерно того же возраста, что и Ансельм, но худенькая и блеклая, с хлипкой длинной косой на плече и каким-то мешочком в руках.

— Вот ему, — сказал Ансельм и кивнул на Боруха. — Посмотри, не будет ли от него проблем.

Кажется, это и была та самая Далия. Без спросу она села к Боруху на кровать, забравшись с ногами, и теперь он понял, почему она шла бесшумно: на ней были теплые шерстяные носки. Поджав под себя ноги, Далия некоторое время молча смотрела на Боруха — не прямо на него, а как будто сквозь. Боруху показалось, что один ее глаз светлее другого.

## БОРУХ

— Чего? — буркнул он, но, поймав опасный прищур Ансельма, решил благоразумно заткнуться и ждать, что будет. По крайней мере, ножом ему больше не угрожали. Девчонка не выглядела опасной — хотя Ансельм при ней как-то присмирел. Может быть, она ему нравилась.

— Как тебя зовут? — спросила Даля и вдруг взяла его за руку.

Борух бросил быстрый взгляд на Ансельма, но тот и бровью не повел. Тогда Борух представился, чувствуя, как пересыхает горло.

— Хорошо, — ответила Даля.

От того, что она не называла его еврейской свиньей, было даже приятно. Ее горячие пальцы чуть вдавились в кожу, изучая ладонь. Круглые рыбы глаза задрожали, закатились, и Даля, поспешно развязав тесемки мешочка, рассыпала по кровати камешки. Крепко держа Боруха, другой рукой провела над ними, выбрала один, за ним другой, третий. Выложила их отдельно. Показалось, что на камнях были какие-то значки, нанесенные темной краской.

Дедушка Арон как-то рассказывал Боруху о каббалистах-алхимиках — математиках и естествоиспытателях. О Пражском големе<sup>1</sup> и философском камне бессмертия. Но то, что делала Даля, больше напоминало деревенское гадание на внутренностях петуха или цыганскую ворожбу на картах. Даля коснулась каждого камешка, изучая его на ощупь. Потом открыла рот и заговорила голосом, изменившимся так, будто за миг она повзрослела, даже постарела.

---

<sup>1</sup> Пражский голем — согласно легенде, человекоподобное существо из глины, которое оживил раввин Иуда Лёв бен Бецалель, вложив ему в рот тетраграмматон. Вначале послушный, со временем голем превращался в опасного монстра, сметающего все на своем пути, и после был вновь обращен в глину. По одной из легенд возвращается к жизни каждые 33 года.

— Все пожирает пламя, — прокаркала она скороговоркой, — тебя, твой род, твоё племя. Младший сын младшего сына, один среди воронов, они выключают тебе сердце, если поддашься. Бойся страха, который отнимает разум, бойся бесстрашия, которое спит его.

Ошарашенный, Борух вскинулся, отпрянул, но рука Даля держала крепко — такой силы не ждешь от девчонки.

— Убегай, если хочешь, — сказала она, — все равно не сможешь без его на то разрешения.

Хватка ослабла, Борух вырвался, и тогда Далия с шумом вдохнула, будто вынырнула из глубокого омута, заморгала растерянно. Обернувшись к Ансельму, сказала обычным девчоночьим голосом:

— Для тебя он не будет опасен. Ни для кого не будет, кроме себя самого.

Собрав камешки в мешочек, она слезла с кровати Боруха и так же тихо, скользя по полу, вышла из спальни мальчишек. Ансельм проводил ее долгим взглядом. Осклабившись, подмигнул Боруху:

— Слышал, что сказала?

— Слышал какой-то бред, — огрызнулся Борух, растирая запястье, и тут же вспомнил про нож.

Но Ансельм на этот раз не разозлился.

— Ее все слушают, свинья ты бестолковая, — усмехнулся он. — К ней такие люди приезжают, к которым тебе даже подходить нельзя.

— И Нойманн слушает?

— Для тебя герр Нойманн. Ничего, скоро научишься. Далия — наша норна. Герр Нойманн — предводитель. А ты, — он широко зевнул и, встав с чужой кровати, побрел к своей, — ты просто грязная еврейская свинья. Такой вот порядок.

## ЛИХОЛЕТОВ

**О**на выглядела младше, чем можно было представить. Худая, одни глаза на пол-лица и уши топориком. Смешные. Когда он вошел, она стояла у приоткрытого окна. Испуганно вздрогнув, обернулась на Лихолетова и отпрянула от подоконника, будто собиралась спрыгнуть.

Бардак, ну что за бардак! Лихолетов отметил про себя устроить выволочку Москвитину за то, что оставил подозреваемую без присмотра, еще и с открытым окном. Там, конечно, решетка, но такая, как Смолина, в любую щель без мыла пролезет.

— Следователь Лихолетов, — представился он и указал ей на стул для посетителей.

Смолина поспешно села. Лихолетов проскрипел мимо нее по паркету, тоже сел за стол, откашлялся, собираясь с мыслями. Положил перед собой пустой бланк протокола.

— Смолина, верно? — спросил он, чтобы хоть с чего-то начать. Она молча кивнула, не поднимая глаз. Лихолетов внес в протокол.

Вести допрос, тем более с пристрастием, как это делают более матерые сослуживцы, он не слишком умел. А вот задушевно беседовать, внимательно слушать, кивать в нужных местах — это запросто, всегда пожалуйста. Лихолетов подозревал, что без влияния профессора Любви на его методу